

Марго Гритт

Вторжение

альпина

ПРОЗА

Издательство

«Альпина нон-фикшн»

Москва, 2023

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-444
Г85

Редактор Татьяна Королёва

Гритт М.

Г85 Вторжение : Рассказы ; повесть / Марго Гритт. — М. : Альпина нон-фикшн, 2023. — 320 с.

ISBN 978-5-00139-774-8

В дебютный сборник Марго Гритт вошли рассказы и повесть, на первый взгляд, не объединенные сквозной темой, но читается он удивительно цельно. Герои Гритт болезненно переживают столкновение с реальностью, а потому часто ищут утешение в фантазийном. Истории про хрупких людей, чей мир рухнул, удивительно точно передают картину восприятия действительности современным поколением. Это книга о вторжении в человеческую жизнь других людей или каких-то событий и тех последствиях, к которым эти вторжения приводят.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-444

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00139-774-8

© Гритт М., 2023
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Play/Pause **5**

Ибо мысли слышны на небе **15**

Сорока-ворона **30**

Вторжение **38**

Наташин день **68**

Сашки **75**

Клятва **79**

Нырок **84**

Суббота **91**

Common people **101**

Птицефабрика **113**

Электрический балет **122**

Руками не трогать **146**

Повесть

Чертovo колесо 153

Play/pause

Только вот не надо брать меня на слабо: мол, а давай посмотрим, кто из нас первым свалится под стол. Ну, образно. Нормального стола у нас, конечно же, нет, мы постелили на траву голубую клеенку, изрезанную ножом. На ней — пластиковые тарелки с луком и заветренными ломтиками помидоров, над которыми мы по очереди машем руками, отгоняя мух. Славик еще не подзревает о моей суперспособности пить и не хмелеть*, а мне только этого и надо — чтобы восхищались, как лихо я опрокидываю стопки наравне с мужиками. Почему-то мои стихи не производят такого эффекта, приходится искать другие области самовыражения.

— А давай, — говорю и щелкаю по муравью, что кружит по ободку моего одноразового стаканчика.

— Я пас! — Алена такая девочка-девочка, что даже на природу нацепила юбку, и мучится, как бы

* Я пока не знаю, что суперспособность исчезнет после двадцати, но этому городу нужен герой.

ей так устроиться на подстилке, чтобы трусы было не видно. Пьет «компотик», нагретый на солнце, а мясо ест вилкой. Толя же выбывает из соревнования досрочно — ему еще нас всех обратно везти. Губы его лоснятся от жира, на жиденькой белобрысой щетине застряли крошечные черные угольки от шашлыка, и я смотрю на этот рот, который планирует сегодня оставлять засосы на моей шее, и требую водки.

— Ну, Ритка, ты даешь, — говорит Толя.

«Ритка». Убила бы.

Pause.

Память — затертая кассета с истонченной от частых перемоток пленкой. Я не помню цвета клеенки, но ее заломленный голубой уголок задокументирован на кадрах любительской съемки. Ползающие по розовой коже помидоров мухи тоже невольно останутся в аналоговой вечности. Первый курс, режиссерский факультет, родители покупают мне ручную камеру-малышку со сменными кассетами, и я таскаю ее в мягком черном кофре через плечо вместо сумочки и разбиваю мир на прямоугольники с надписью Res, мигающей красным, как воспаленный нарыв.

На том пикнике камера оказывается в руках Славика, который «поливает из шланга», как сказал бы наш препод по операторскому мастерству, мечется от одного лица к другому, теряет фокус. Я заслоняю ладонью направленный на меня объектив, точно застуканная папарацци кинозвезда,

но если нажать на паузу, то за секунду до можно поймать мой чуть смазанный портрет. В восемнадцать у меня тот же пробор справа, что будет и в тридцать, и, наверное, в пятьдесят, подведенное черным карандашом нижнее веко, слишком крупный нос, замазанные тональником прыщи, из-за которых я не люблю сниматься. Камера отстает от меня, зависает на мангале. С жарящегося мяса капает жир, и кажется, я слышу, как шипят угли, хотя пленка сохранила только музыку, доносящуюся из динамиков в Толиной машине, что стоит неподалеку с открытым багажником.

Я устал, хочу любви, да так, чтоб навек, а ты парись секс... *

Камера задерживается на Алене, которая подставляет чистенькое, без единого прыщика лицо объективу, точно солнечным лучам. Точно прицелу. Славик «наезжает» зумом на ее большие мультяшные глаза, и я, пересматривая кассету столько лет спустя, чувствую неловкость, как в театре, когда актеры обнажаются на сцене. Будто я подловила его тайный влюбленный взгляд, будто этот дрожащий кадр не предназначен для просмотра, но я все перематываю и перематываю, чтобы вспомнить, как же выглядела моя лучшая подруга. «Я устал, иду на дно смотреть про любовь немое кино», — подпевает раз за разом Алена. Ее патронусом наверняка оказался бы Бэмби. Когда мне было пять,

* Переслушивая песню группы Quest Pistols через пятнадцать лет, я все так же не понимаю, что значит «парить секс».

в один день я четыре раза подряд посмотрела диснеевский мультфильм про олененка, перематывая кассету на начало сразу же после титра The End, и четыре раза рыдала навзрыд на сцене, в которой охотники застреливают мать-олениху. В воображаемых интервью я буду рассказывать, что именно тогда я впервые осознала силу киноискусства.

Play.

Мы сидим так, что дым от мангала идет в нашу сторону, щиплет глаза. Водка обжигает горло, но я не подаю виду — видела бы меня сейчас препода по актерскому, — рука тянется к огурчику лениво, не спеша, мол, мягонькая, как водичка, можно и не закусывать. По пути сюда, в машине, Алена перегнулась через корзину, которая стояла на заднем сиденье между нами, и шепнула мне на ухо: «Обязательно сегодня? Не можешь подождать?» Я приложила сложенные указательный и средний пальцы к виску и дернула, выстреливая невидимым пистолетом.

Обязательно.

Pause.

Если перемотать пленку на четыре года вперед, в год конца света по календарю майя, камера застигнет врасплох утреннюю, сонную еще Алену в одном корсете и белых колготках в сеточку. Поджимая от боли пальчики на ногах, она перебирает пузырьки и блистеры в коробке из-под печенья,

пока подружка укладывает ее толстые косы на затылке и рассыпает в темных волосах шпильки с жемчугом, похожим на круглые глянцевые таблетки. «Не снимай!» — машет рукой Алена и глотает но-шпу. Пышная, накрахмаленная юбка на кровати вздувается гигантской медузой, вынесенной на берег. Я догадываюсь, что, когда юбка окажется на Алене, кому-то придется помогать ей со сменой тампонов.

Меня попросили захватить камеру — сэкономили на операторе, — и я в длинном атласном платье ползаю на коленях перед выставленными, как в витрине обувного магазина, туфельками, чтобы снять эффектный кадр. Со спины сходит лавина пота, но Алена просит не открывать окно, иначе ее платье провоняет запахом навоза, который несет ветер с ближайшей молочной фермы.

По традиции жениха не пускают к невесте, пока тот не заплатит выкуп. На зрелище стекаются соседи со всей станицы, прямо так, в чем задавали корм скотине и возились в огороде, — женщины в цветастых халатах с темными пятнами под мышками, мужчины в трениках и галошах на босу ногу с налипшими комьями глины и травы. Я не хочу выделяться, но на мне коралловое платье в пол. На облупленный зеленый забор прицеплена скотчем бумажная ромашка. Подружка Алены звучным голосом объявляет, что сейчас мы узнаем настоящую причину, по которой женится жених. Славик — впервые вижу его в костюме — отрывает случайный лепесток, переворачивает и смущенно зачитывает: «По залету». Из толпы доносятся

одобрительные выкрики, смешки и свист. Никто, кроме меня, не знает наверняка, что Алена до сих пор девственница. На пленке нет того кадра, на котором молодожены втискиваются в деревенский туалет, пока гости в третьем часу утра распивают остатки самогона и горланят «О боже, какой мужчина». В первую брачную ночь из-за месячных Алене приходится откупиться быстрым минетом.

На свадьбе я впервые после того пикника встречаю Толю. Не могу даже мысленно заставить себя назвать его «бывшим». Толя всегда будет не в счет. Я никогда не буду рассказывать о Толе друзьям, которых заведу, когда перееду в Москву. Никогда не буду искать его в соцсетях. Толя подрабатывает летом оператором машинного доения на той самой молочной ферме, от которой несет навозом, — единственный мужчина среди доярок. Нас познакомила Алена. «Главное, чтобы человек был хороший», — говорю я сама себе. Мысленно я живу на Манхэттене, делюсь секретами с Деми Мур и репетирую речь для «Оскара», говоря в расческу, как в микрофон, а Толя не знает, кто такой Джармуш, не смотрел ни одного фильма Линча, не может поддержать разговор даже о попсовой «Загадочной истории Бенджамина Баттона», которая прямо сейчас идет в кинотеатрах.

Институт культуры и искусств против сельскохозяйственного техникума.

Собственный снобизм кажется мне отвратительным. «Мы с тобою одной и той же породы», — подсказывает мне в наушник нежный голос солиста группы Brainstorm. Не суди людей по их

плейлисту, да не судим будешь. Но я сужу. И вот я больше не положительная героиня этой истории — так, городская выскочка, которая считает себя выше деревенского паренька. Каждые выходные, когда я в детстве приходила в гости к бабушке, я просила ее включить «Анжелику — маркизу ангелов». Мы засмотрели кассету до помех, до пиксельных молний, вспарывающих идеальное лицо Мишель Мерсье. Страсть графини к конюху по имени Николя представлялась мне тогда дико романтической. Я стыжусь себя за непоследовательность. Первую попытку отношений я трачу на мысли о социальном статусе и угоры. «Посмотрите, какая цаца. Тоже мне графиня нашлась. Ты радоваться должна, что хоть кто-то обратил на тебя внимание. Влюбился, несмотря на твои прыщи под тональником и нос картошкой». Я пока ничего не знаю о феминизме* и праве сказать «нет». Но когда Толя пытается поцеловать меня, я до боли стискиваю зубы, чтобы его язык не оказался у меня во рту.

На Алениной свадьбе мы здороваемся, но не говорим друг с другом. На его месте я бы тоже со мной не разговаривала. Я представляю, какой могла быть наша свадьба. Толя отрывает

* На самом деле знаю, но тогда я была уверена, что феминистки обязаны ненавидеть мужчин. Глядя на развешанные по комнате плакаты с Джонни Деппом, я считаю, что не могу поддерживать движение, и, судя по записи в дневнике, называю себя «полуженщиной».

лепесток бумажной ромашки и читает: «Мы поженились, потому что она не смогла отказаться».

Я пью водку наравне с мужиками, смеюсь громко, как в последний раз, пою «О боже, какой мужчина» вместе со всеми и роняю камеру на кафельный пол в кухне, пытаюсь снять еще нетронутый праздничный торт, но я все время мысленно возвращаюсь к тому пикнику.

Play.

Мясо закончилось, но у нас еще целый пакет сосисок. Оставляем ребят нанизывать их на шампуры и идем с Толей к реке смотреть закат. Алена едва заметно качает головой, недовольно кривит губы: я порчу ей вечер. Сейчас я испорчу вечер еще и Толе, а потом займусь Славиком: не надо было меня на слабо брать.

Из-за долгой засухи воды в реке почти нет, серая земля в трещинах, какие-то покрышки торчат, коряги, целлофановые пакеты и битое стекло, на котором бликует заходящее солнце*. Толя подставляет маслянистые губы, а я отворачиваюсь и хлопаю себя по руке, размазывая по коже кровь откормленного комара.

— Толь, послушай... — Я начинаю произносить заготовленную речь и вдруг вижу себя со стороны, не только себя, но нас, стоящих на вытоптанном

* Незэкологичная романтика две тысячи восьмого. Конец света наступит через четыре года, так что мы не сортируем отходы.

клочке берега в зарослях камыша, таким вот общим планом — кинокамера описывает вокруг нас стремительную дугу под пронзительную музыку, как в мелодрамах, потом берет крупный план его лица. Мне все кажется нелепым, ненастоящим — он, я сама, декорации и сумеречный свет, который операторы называют «режимным», — будто я играю роль в малобюджетном российском сериале, сцена восемнадцать, кадр два, дубль один: городская выскочка бросает деревенского паренька. Слова сценария загораются на телесуфлере:

«Еще один фильм про разлуку».

Мне становится смешно, боже, как же мне становится смешно. Я, можно сказать, человеку сердце разбиваю, а мне смешно. Меньше пить надо. Речка эта вонючая — так себе место для экзистенциального кризиса, но я вижу все как бы со стороны, как бы извне, в прямоугольнике с бьющимся в истерике значком Rec. И я не могу нажать на Pause или Fast Forward, чтобы промотать этот дурацкий день, все эти дурацкие дни, в которые мне придется играть одну и ту же роль отрицательной героини — за нее мне никогда не дадут «Оскар».

— Знаешь, мне кажется, мы не...

А он-то, он! — ни-че-го-шень-ки не понимает, для него-то все серьезно, все по-настоящему, у него *жизнь* происходит! Смотрит на меня, глотая сопли, и не понимает, почему я смеюсь, не понимает, что это всего лишь один бестолковый эпизод, ну сколько еще таких будет — тысяча? две? А потом пленка остановится, экран погаснет, оператор пойдет на перекур. Разве можно вот так, серьезно?

Если все равно все закончится. И мы точно знаем, что закончится, и он, и я, но почему-то продолжаем играть. Смешно и бессмысленно. Бессмысленно и смешно.

Красное солнце разбивается вдребезги в мутной воде.

Я говорю: «Как-то похолодало к вечеру».

Мы возвращаемся к костру.

— Ну что, Рит, еще по одной? — спрашивает Славик. — Ты же знаешь, я тебя все равно уделаю...

Пожимаю плечами, беру бутылку и пью прямо из горла.

ИБО МЫСЛИ СЛЫШНЫ НА НЕБЕ

1

Сваренные вкрутую яйца остывали в ледяной воде на дне кастрюли. Синие штампы на боках размыло, и теперь яйца напоминали белоснежную морскую гальку. Вероника видела такую только на могиле бабушки, но никогда не встречала на пляже. Обычно мама покупала коричневые, утверждая, что они лучше белых (папа неизменно шутил про расизм), и жарила омлет, потому что от вареных яиц папа икал, а бабушка, ковыряя ложечкой желток, жаловалась на его неправильный «магазинный» цвет. Но раз в году всем приходилось терпеть — мама варила сразу десяток, раскладывала на столе прошлогодние газеты, ставила в ряд стаканы и растворяла разноцветные порошки в горячей воде и уксусе. На его запах и объявилась бабушка, как раз когда мама разрешила Веронике утопить первое яйцо в красной жиже.

— Как?.. Да вы что!.. Химозной отравой!

О Великой яичной войне можно было слагать легенды. Мама из года в год полоскала яйца в пищевых красителях (папа неизменно спрашивал: «А мои покрасишь?»), бабушка же приносила деревенские, «натуральные», отваренные в луковой шелухе и свекольном соке, с узором из петрушки или риса, и причитала про неосвященный белок, который впитал «химозную отраву». Когда по традиции яйца били, сжав в кулаке, бабушкины почти всегда выигрывали, убеждая ее, что искусственная краска истончает яичную броню. После смерти дедушки бабушку взяли жить к себе, но на кухню не пускали. По официальной версии: «Мама, тебе нужно больше отдыхать», по неофициальной: «Я ее еще хлебать не буду. Заказываю пеперони или четыре сыра?»

— Да как же я их в церковь понесу? — продолжала бабушка.

— Перед богом все яйца равны, — ответила мама, натирая скорлупу подсолнечным маслом для глянца и инстаграма* (#пасха #happyeaster #hygge). Вероника осторожно раскладывала яйца на тарелочке вокруг купленного в супермаркете кулича и незаметно сковыривала белую глазурь, как засохшую корочку с ранки. В прошлом году мама взялась печь самодельные в жестяных банках из-под «Нескафе», но куличи сгорели. Бабушка сказала, что наверняка мама думала о чем-то дурном, пока

* Деятельность Meta Platforms Inc. (в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская.

их готовила. Мама вспомнила, что и правда думала об отце — поскорее бы ему отмучиться, — но промолчала. В этот раз решила не рисковать.

— А вы знаете, что кулич и яйца — это фаллический символ? — На кухню заглянул папа, который только что вернулся с работы и не успел еще натянуть домашнюю футболку с надписью Star Wars, однако уже был настроен воинственно.

— Какой символ? — переспросила Вероника, но мама замахнулась на папу мокрым полотенцем, будто хотела согнать с него муху.

Мама рассердилась понарошку — прикрыла рот рукой, делая вид, что закашлялась. Бабушка все равно заметила ее улыбку.

— Бесстыжие, — проговорила она. — Постеснялись бы при ребенке.

— То есть про распятие ей слышать можно? — не унимался папа. — Человеку гвозди в руки вбили вообще-то, без анестезии.

— Ну, хватит, — сказала мама, а бабушка, ойкнув, перекрестилась.

Когда сели ужинать, она объявила:

— Вера пойдет со мной на всенощную.

— Ника никуда не пойдет, — сказал папа, противно цапнув по тарелке ножом.

Бабушка звала Веронику Верой, папа — Никой, мама примирительно выговаривала полное имя, и только дедушка называл ее Кнопкой.

Папа демонстративно отправил в рот кусок отбивной, мол, разговор окончен, и даже прибавил громкость на телевизоре, где как раз выложенная белобрысая семейка изображала неистовый

восторг от йогурта с кусочками клубники. Бабушка, сдирающая липкую кожуру с картошки в мундире («Без масла! Без масла! Пост же»), не отступала:

— Надо-надо. Яички освятим...

Папа направил на бабушку вилку:

— Развлекайтесь, Елена Григорьевна, сколько душеньке вашей угодно. Хотите биться лбом об пол? Пожалуйста. Мяса не есть? Да на здоровье. Верить в воображаемого друга? Ну, верьте себе тихонечко. Только оставьте ребенка в покое.

— Мам, ну правда, какая всенощная? У Вероники режим...

— Не забивайте ребенку мозги, Елена Григорьевна, с этим и так прекрасно справляется нынешнее образование...

— Мам, может, в следующем году? Вероника еще слишком маленькая для такого...

Бабушка сперва помалкивала, ибо в Чистый четверг scandalить негоже, но в конце концов не выдержала и устроила показательные выступления с прикладыванием платочка ко лбу, перебором вариаций на тему «грех» — греховность, грешно, грешники, — перетряхиванием содержимого старенькой дерматиновой сумочки, пока в чехле для очков не был найден глицин. Бабушка верила, что таблетки-бусинки моментально избавляют от заявленного на упаковке «пси-хо-эмо-ционального напряжения». Папа невозмутимо щелкал каналами, из-за чего слова из телевизора складывались в бессмысленную фразу: «Пенсионной реформы... усилить санкции против... все в восторге от тебя... аномальное тепло...» Мама щипала папу

под столом за ляжку — наверняка за столько лет на бедре у него цвел вечнозеленый синяк. Пока взрослые препирались, Вероника потянулась к красному яйчку, но бабушка заметила, отвлеклась от причитаний и хлопнула по руке: «Фальстарт!»

Никто не спросил, хочет ли Вероника в церковь. Взрослые никогда не спрашивали, что она думает. Пожалуй, только дедушка, когда был жив: «Как думаешь, Кнопка, динозавры вымерли, потому что не поместились в ковчеге?» У Вероники как раз была стадия увлечения динозаврами, и она могла перечислить их по алфавиту от аллозавра до ямацератопса — если уж она чем-то увлекалась, то всерьез. На дедушкины вопросы бабушка недовольно цыкала и бормотала про вред алкоголя. Когда Вероника представляла бога, перед внутренним взором сразу же появлялась кудрявая гипсовая голова с глазами навывкате, которую мама в приступе ностальгии по художке купила на «Алиэксспресе» (греческая мифология давид имитация пластыря штукатурка статуя). Белоснежный бюст пылился на шкафу, нетронутый, рядом с потрескавшимися акварельными красками и кистями, которые папа иногда таскал, чтобы почистить внутренности компьютера. Веронике казалось, что, если у бога есть лицо, оно именно такое: угрюмое, с двумя морщинками над переносицей, — он будто непрерывно следит за тобой оттуда, сверху. Иногда перед зеркалом Вероника пыталась одновременно хмурить брови и широко открывать глаза, но у нее скоро начинал болеть лоб, а повторить выражение лица Давида так и не удавалось.

В воскресенье утром, столкнувшись с папой у двери в ванную, бабушка торжественно провозгласила:

— Христос воскрес!

— Как зомби? — спросил папа.

Вероника в это время сидела в туалете и слышала, как бабушка прошипела:

— Бог тебя накажет.

Вероника задумалась: как бог накажет папу? Поставит в угол? Побьет ремнем? Она представила, как бог-Давид кладет папу себе на колени, спускает с него штаны и шлепает по заду огромной белой ладонью. Не удержавшись, Вероника рассмеялась. Послышался строгий бабушкин голос из-за двери:

— Что смешного?

Вероника проговорила:

— Ничего... Просто подумала...

— Подумала она. Остерегайся мыслей своих, ибо мысли...

Остаток фразы Вероника не услышала, потому что нажала на кнопку смыва.

2

Бабушка знала, что врать грешно. Послание к Ефесянам (4:25): «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». А еще бабушка умела гуглить. «Википедия»: «Благочестивый обман, святая ложь, ложь во спасение (лат. *riā fraus*) — морально-теологическая концепция о допустимости сознательного обмана для вящей славы

Божьей и спасения души». Из двух вариантов бабушка склонялась к тому, в котором хотя бы один человек в этом доме будет воспитан по-христиански. Поэтому для родителей Вероники за ночь были изобретены детская секция плавания и аквааэробика для женщин шестьдесят плюс.

— Мы сходим посмотреть *разочек*, — сказала бабушка. — Если понравится, запишемся в группу.

Нет, на самом деле бассейн во Дворце спорта существовал, прекрасный бассейн с восемью дорожками, и даже бесплатные занятия для пенсионеров, на которые бабушку все звала соседка, тоже были. Только вот рядом с Дворцом притулилась румяная церквушка, где до двенадцати дня святили куличи, поэтому в то воскресенье купальник Веронике не пригодился. Вместо шапочки для плавания бабушка повязала на нее платок.

Под колючей тканью намокли волосы и чесалось, а еще хотелось по-маленькому. Перед накрытым клеенкой длинным столом, заставленным корзинами, пластиковыми контейнерами и ячеистыми лотками с яйцами, вышагивал бородатый мужчина в черном балахоне с белым шарфом — по крайней мере, Веронике сначала показалось, что на нем именно шарф, как у болельщика футбольной команды. Батюшка — так называла его бабушка — разбрызгивал холодную воду смешным ершистым веником, капельки попадали Веронике в глаза, и она не знала, можно ли вытереть мокрое лицо рукавом, или это будет неуважительно по отношению к батюшке. «Неуважительно» — так выразилась бабушка, когда Вероника попросилась

в туалет. О чем батюшка говорил тихим монотонным голосом, разобрать было невозможно. Женщины с блаженными улыбками, будто сбежавшие со съемок рекламы клубничного йогурта, подставляли лица младенцев под его веник, но те хныкали не по-рекламному, терли глаза кулачками. Вероника стояла рядом с бабушкой, повторяя за ней движения руки — ото лба к животу, от правого плеча к левому (пару раз перепутала, и бабушка больно ущипнула за бок).

Потом бабушка купила пачку желтых свечек, похожих на разбухшие спагетти.

— Надо задуть все, чтобы желание исполнилось? — спросила Вероника, когда бабушка подвела ее к картине, на которой седой старик показывал знак «окей». Бабушка ахнула, спешно перекрестилась — прости господи неразумное дитя — и выудила из кошелька занюханный традиционный лист, сложенный в квадратик. Развернула, отвела на вытянутой руке подальше от глаз, чтобы различить маленькие строчки, зашептала:

— О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень...

Из-за странных, искаженных слов, которые бабушка произносила торжественно, с выражением, как на уроке, Вероника нечаянно фыркнула.

— Вера! — бабушка хотела рывкнуть тихо-нечко, но получилось довольно громко, так, что молодая женщина впереди обернулась и цокнула языком.

Бабушка начала заново, скороговоркой:

— О всесвятый Николае, угодниче...

— «Угодниче» — это как, бабуль? — перебила ее Вероника.

Бабушка открыла рот, но не нашла подходящего определения и предпочла зашипеть:

— Тише! В церкви надо вести себя тихо.

— Как в библиотеке? — прошептала Вероника.

— Как в библиотеке, — вздохнула бабушка.

Она стала объяснять, как правильно читать молитву о здравии, потом, испугавшись новых вопросов, махнула рукой и сказала только, чтобы Вероника молилась как-нибудь молча, про себя — бог все равно услышит.

Получается, бог как Мэл Гибсон в фильме «Чего хотят женщины», подумала Вероника. Конечно, ей ни за что не разрешили бы смотреть взрослое кино, но монотонное нытье российских сериалов обычно убаюкивало бабушку, и можно было включать что угодно. Бог-Давид-Гибсон читает мысли... Наверняка крест на золотом куполе передает сигналы, как телевизионная антенна. Вероника попробовала что-нибудь думать, что-нибудь похожее на молитву, но на ум ничего не приходило, кроме строчек стихотворения, которые она разучивала с мамой: «С утра во рту у Саши слова простые наши — слова простые наши...» Вероника представила, как саша-наши-каши из ее головы улетают на небо прямым рейсом без пересадок.

А потом было слово, и слово всплыло так неожиданно, что Вероника вздрогнула. Она не знала, откуда пришло слово и что оно значит, знала только, что это Очень Плохое Слово и произносить его нельзя ни в коем случае. Ладно бы слово

мелькнуло короткой вспышкой и исчезло, но оно завертелось в голове псом, который не может найти себе места и кружится вокруг своей оси, прежде чем улечься. Ладно бы слово появилось дома или на уроке, но оно пришло в храме господнем, где полагались всякие «иже-еси», а не... Вероника слышала слово во дворе от мальчишек, на перемене от старшеклассницы, один раз в очереди на кассу от мужчины, который говорил по телефону, даже от дедушки, когда тот обжегся о сковородку. Бабушка тогда всполошилась: «Как можно? При ребенке!» Пока мама искала пантенол в аптечке, Вероника спросила у нее тихо, чтобы бабушка не услышала: «Мам, что такое блять?» Мама покраснела, как пасхальное яйцо, и прошептала только: «Никогда не произноси этого слова!»

Вероника зажмурилась, ожидая неминуемой кары. Представила, как бог-Давид-Гибсон-Зевс прицеливается в нее молнией, как в мультике. Но ничего не произошло. Бог не реагировал. Странно... Возможно, связь прервалась, потому что небо затянуло тучами? Что, если попробовать другое слово? Вероника выудила из памяти еще одно неприличное, которое услышала в школе. Повертела в мозгу и так, и эдак — не была уверена, куда ставить ударение. Вспомнилось, как слово выкрикнул одноклассник в ответ учительскому «да», за что был отправлен к директору. С ударением разобралась. *Что* значило это слово, Вероника тоже не знала, но внутри приятно щекоталось от осознания, что она делает что-то плохое. Вероника повторяла и повторяла рифму к «да» как заклинание,

которое должно вызвать бога, но он не спешил доказывать свое существование.

Неожиданный толчок в плечо отвлек ее от бурлящего потока мыслей — бабушка подгоняла к выходу из церкви. У бабушки от запаха ладана разболелась голова, и она усомнилась, что внучка правильно читала молитву о здравии.

— Родителям скажем, что в бассейне были, да? — на всякий случай напомнила бабушка.

Вероника и сама бы ни за что не рассказала про церковь — теперь, после того что случилось, хотя ведь не случилось ровным счетом ни-че-го...

Святой водой из бутылочки бабушка намочила Веронике волосы — почти что покрестила. Принюхалась: жаль, хлоркой не пахнет. Купальник и шапочку — сразу в стиралку, никто и не заметит, а бог... Бог простит. *Pia fraus*.

3

Бабушка торжествовала. Вероника напросилась ходить в «детскую секцию плавания» каждое воскресенье, сама. Терпела колючий платок. Не баловалась, как другие дети, — глядела в одну точку и о чем-то напряженно думала. Наверное, молилась.

— Мне кажется, ты даже похудела на этой своей аквааэробике, — говорила мама бабушке. — Прямо светишься. Может, мне тоже заняться?

— Шестьдесят плюс! — Бабушка поднимала указательный палец, как старик на иконе. — У нас все строго!

А Вероника испытывала бога. Если уж она чем-то увлекалась, то всерьез. Вспоминала новые подслушанные выражения, Очень Плохие Слова, которые могли бы вывести его из себя. Проверяла, как далеко сможет зайти. Было страшно и одновременно сладко, как на веселых горках, когда тебе кажется, что ты падаешь, летишь в пропасть, а внутренности будто прилипают к спине.

И ничего.

Слова не работали. Бог не слышал. Не клевал на приманку. Это было не по правилам. Вероника не понимала, как и тогда, когда мама тащила ее на красный сигнал светофора, приговаривая: «Никогда так не делай». В конце концов, когда Веронике надоело играть в одни ворота, она подумала, что, может, ничего плохого в словах и не было. Всего лишь буковки, сложенные в определенном порядке. Взрослые вечно придают значение вещам, на которые не стоит обращать внимания. И в церковной тишине она вдруг громко и отчетливо произнесла:

— Блять.

Бабушка пошатнулась. Две женщины, стоявшие у иконы Божьей матери, заверещали, как машины от пинка в колесо, мальчик на костылях у распятия то ли икнул, то ли хихикнул, а лысый мужичок, шевелящий губами, оказался глух и даже не обернулся. Бабушка взметнула рукой, наскоро изображая крестное знамение, от живота ко лбу, от правого плеча к левому плечу Вероники, схватила и поволокла ее из церкви.

— Господи-прости, господи-прости, — повторяла бабушка. Шагала она быстро, больно сжимая

внучкину руку, и только когда купола с крестами-антеннами скрылись за девятиэтажками, остановилась и развернула ее к себе.

— Как тебе не стыдно, грешница! — Бабушка хватала ртом воздух и трясла Веронику за плечи. — О чем ты думала? О чем ты думала?

Вероника решила не перечислять длинный список неприличных слов.

— Богу все равно, — решительно заявила она. — Богу все равно.

Евангелие от Луки (8:17): «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Сборник русских пословиц и поговорок, с. 56: «Все тайное становится явным».

Бабушка, взмокнувшая, покрасневшая, затащила на бицепсе манжету тонометра и сжимала грушу в кулаке так, будто хотела раздавить.

— Если честно, аквааэробика в твоём возрасте, мама...

— Та ещё из вас русалка, Елена Григорьевна...

Аппарат слабо пискнул, тут бабушка разом и покаялась. Да, было, да, водила в церковь. Признаю. Только вот её грех — да что там, грешок! — ни в какое сравнение не шёл с тем, что натворила «ваша дочь». Родителям была пересказана цензурированная версия («как “блин”, только по-другому»). Посмотрите, кого вырастили. Папино воспитание! Мама на всякий случай положила под язык глицин-от-греха-подальше и принялась гуглить статью об оскорблении чувств верующих. Папа, облаченный в униформу Star Wars, начал

бороться, правда, с самим собой, чтобы не расхотаться, но все же включил дарт-вейдеровский голос и отправил Веронику в детскую «думать о своем поведении». Потом он встал на табуретку, будто собирался читать стихи, достал с самой верхней полки бутылку, припасенную для экстренных ситуаций вроде повышенного давления у тещи, обтер с боков пыль тряпкой и поставил на стол.

— Святая вода, что ль? — прищурилась бабушка.

— Не святая, да чудотворная. — Папа расставил рюмки, потом, подумав, спросил: — А вы чего больше боитесь, Елена Григорьевна? Что бог разгневается или УК РФ?

— Бог хотя бы прощает, — ответила бабушка, опрокинула «чудотворную» и перекрестилась.

— На стадии увлечения динозаврами было как-то попроще, — заметила мама.

Пока папа и бабушка, объявив временное перемирие, распивали на кухне самогон, мама тихонечко пробралась в детскую. Вероника обнимала подушку и размазывала сопли по щекам — испугалась, что у бабушки из-за нее теперь «психологическое напряжение».

— Простит. — Мама легонько ущипнула дочь за подбородок, а потом убрала мокрую от слез прядь за ухо. — Как говорится, бог простит, и бабушка тоже...

— Мам, ну ему же все равно, — Вероника шмыгнула носом и исповедалась. Рассказала про Очень Плохие Слова, которыми пыталась его вызвать: «Прием-прием, господь, как слышно?»

Мама улыбнулась.

— Бог наверняка и слов-то таких не знает.

Вероника задумалась. Если она не понимала молитвы, может, и ее триединый бог-Давид-Гибсон-Зевс не понимал неприличных выражений. Откуда ему было знать, невинному и безгрешному? Вот и молчал.

— Ой, — сказала Вероника.

Возможно, она научила бога плохим словам. Если так, ох и достанется же ему от бабушки, когда та попадет на небо.

А папа, кстати, про зомби больше не шутил. Бабушка о церкви тоже помалкивала. Никто не любил сваренные вкрутую яйца, но на следующую Пасху за завтраком все по традиции стукались ими и ели, посыпая солью. Истонченная искусственными красителями скорлупа легко трескалась при ударе, и никто не выиграл.

Сорока-ворона

Руки скрещены в запястьях, правое поверх левого, как у той святой на выцветшей картонной иконке, которую мамочка носит в кошельке. Большие пальцы, точно влюбленные, тянутся друг к другу, сцепляются. На одном ноготке лак облупился — на этой неделе он цвета недозрелого крыжовника, — но спустя мгновение это будет неважно: пальцы перестанут быть пальцами, а руки — руками, когда она раскроет ладони и поднимет их повыше. На стену, которую будто окатили солнечным светом из ведра, вспорхнет темная птица. Пальцы изогнутся, и виноградные листья, нарисованные на обоях, заденет крыло. Мамочка умела изображать руками собаку, корову, даже улитку — знак *peace* и кулак, — но я всегда просил птицу. Так мы могли часами — мне так казалось — лежать на тахте, пока комната наполнялась до краев медовым светом. Мы тонули в нем, как насекомые в янтаре.

Мамочка была до того маленькой, что, даже выпрямив руки за головой, не могла дотянуться пальцами ног до края тахты. Мамочка говорила,